

ленда, где эта категория используется критически и контекстуально⁹⁰, в свое время не спровоцировали большой и серьезной междисциплинарной дискуссии о поселенческом колониализме в российском имперском контексте. Мне кажется, что статья Эдиты Бояновской — очень интересная, по-хорошему провокативная, задающая широкий сравнительный контекст и глобальную теоретическую рамку для разговора — может сподвигнуть исследователей по-новому взглянуть на проблему.

Эдита Бояновска

Лев Толстой вне черно-белой парадигмы

Для меня эта публикация лестна вдвойне. Во-первых, я рада возможности представить русскоязычным читателям столь престижного журнала, как «Новое литературное обозрение», свою работу, первоначально написанную в контексте американской славистики. Во-вторых, я рада тому, что моя работа о Толстом была серьезно и внимательно прочитана рядом авторитетных специалистов. В довольно одинокой профессии ученого такая возможность выпадает нечасто. Я хотела бы выразить благодарность редакции «Нового литературного обозрения», организовавшей эту увлекательную дискуссию, в особенности Кириллу Зубкову, и всем участникам этой дискуссии. Если моя статья ставит вопрос о Толстом и поселенческом колониализме, то проникательные замечания прокомментировавших ее коллег позволяют уточнить затронутые мною проблемы и намечают возможные направления будущих исследований.

Для меня как для исследовательницы, заинтересованной в междисциплинарных связях между наукой о литературе и историей, было важно и приятно узнать, что моя статья вызвала интерес у специалистов в обеих областях знания. Большинство авторов ответов на мою статью согласны с тем, что исследования поселенческого колониализма задают концептуальную рамку для плодотворного обсуждения как жизни и творчества Льва Толстого, так и более обширных вопросов, связанных с культурой и историей Российской империи. Мне показалось очень перспективным предложение Марины Могильнер рассматривать случай Льва Толстого и его самарского имения как обобщенный опыт «того или другого» дворянина Т. и сопоставить этот случай с деятельностью Кржыжановского как представителя мира бюрократии. Больше всего меня заинтересовала ее идея, что модель поселенческого колониализма оказывается наиболее продуктивной в условиях неформализованной колонизационной деятельности. Главная ценность этой модели, по мнению Могильнер,

90 См., например: *Sunderland W.*: 1) *Empire without Imperialism? Ambiguities of Colonization in Tsarist Russia* // *Ab Imperio*. 2003. No. 2. P. 101—114; 2) *Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the Russian Steppe*. Ithaca: Cornell University Press, 2004.

состоит в том, что она дает возможность связать «определенную экономическую практику, административные меры и культурную диспозицию». Как и Могильнер, я надеюсь, что моя статья внесет вклад в развитие междисциплинарной дискуссии о поселенческом колониализме в Российской империи.

Коллеги, научные интересы которых связаны с Львом Толстым, обратили внимание на малоизвестные ранее и совсем неизвестные материалы, которые вводятся в научный оборот в моей статье и открывают новые пути изучения интеллектуальной и творческой эволюции писателя. Благодаря своим знаниям в этой области они обогащают и расширяют контекст дискуссии и в то же время полемизируют с некоторыми интерпретациями, которые я даю своим находкам. Соображения Михаила Долбилова и Ольги Майоровой относительно толстовского понимания крестьянского образа жизни и экономики оказались для меня новыми и полезными. Особенно убедительным кажется мне тезис Долбилова, что взгляды Толстого на крестьянскую общину не сводятся к идеализации: писатель осознавал, что для предприимчивого крестьянина гнет общины мог оказаться ничем не лучше помещичьего. И действительно, я невольно воспроизвела некоторые клише о крестьянской общине, укоренившиеся в работах о Толстом.

Также я благодарна Юлии Красносельской, указавшей некоторых предшественников, с работами которых я не была знакома. Однако я не думаю, что эти дополнительные источники — в одном из которых моей теме посвящены всего лишь две строки (Эткинд), а другой представляет собой видео на YouTube, которое, на мой старомодный вкус, не вполне подходит для изложения научных вопросов, — заставили бы меня отказаться от характеристик сложившегося на сегодняшний день состояния дел в литературе на интересующую меня тему. При этом я была рада узнать, что другие исследователи делали схожие наблюдения. В области исследований имперского измерения русской культуры, в том числе с постколониальных и деколониальных позиций, западные авторы традиционно более активны. Я буду очень рада, если наступит день, когда сотрудничество и интеллектуальный обмен между западными, постсоветскими (включая российских) и восточноевропейскими коллегами в этой области станут более тесными и глубокими. Нам есть чему научиться друг у друга.

Что касается более частных вопросов, я не ожидала, что беглое упоминание «Анны Карениной» в моей статье вызовет столь живую полемику. Впрочем, в этом, пожалуй, нет ничего удивительного. Едва ли можно уложить в несколько строк интерпретацию столь большого, сложного и хорошо изученного романа. Действительно называть Каренина «управляющим поселенческой колонизацией» было с моей стороны преувеличением. Конечно, прототипом Каренина послужил Валуев, который на посту министра государственных имуществ был обязан заниматься этими вопросами, однако Долбилов и Майорова справедливо подчеркивают, что в тексте романа такая деятельность этого персонажа не упоминается. В книге «Империя и русская классика», над которой я сейчас работаю и в которой я предложу развернутую интерпретацию множества аспектов имперской проблематики романа, не исчерпывающейся поселенческим колониализмом, я определяю роль Каренина более точно, как «управляющего имперскими перифериями» (хотя этим аспектом, конечно, его профессиональные обязанности также не ограничиваются). Убедившись на опыте, что не стоит чрезмерно сокращать свою аргументацию, я не буду излагать здесь то, как я понимаю «Анну Каренину» или «Хаджи-Мурата», тем

более что в моей статье ни одно из этих произведений не было в центре внимания, и я пишу краткий ответ, а не новую работу. Надеюсь, что после публикации моей книги скепсис Майоровой по поводу сильных имперских импликаций, которые я вижу в «Анне Карениной», несколько ослабнет. Что же касается сомнительных, по мнению Долбилова, связей между земледельческой темой романа и поселенческим колониализмом, то они также прояснятся. Ограничусь лишь одной интригующей деталью: прототипом семьи мужика, которого посещает Левин и которого Долбиллов упоминает, обсуждая крестьянскую общину в Великороссии, послужила, по словам сына Толстого Сергея, семья поселенцев, у которых писатель останавливался по пути в Самару⁹¹.

Долбиллов не согласен, что Толстой был сознательным участником колонизаторского проекта. Поясню, что имелось в виду под сознательностью. Я вовсе не утверждала, будто Толстой понимал природу этого проекта так же, как современные теоретики. По моему мнению, Толстой знал, что русское присутствие в Башкирии вело к обезземеливанию башкир и вытеснению их на менее удобные территории, что цена, которую он заплатил за свое имение, была намного ниже рыночной стоимости этих земель и что юридические и экономические выгоды, которые он получил как русский покупатель, стали возможны благодаря империалистической политике российского правительства. Иными словами, Толстой понимал, что владеть землей в Самарской губернии — это совсем не то же самое, что владеть землей под Тулой (это различие между правовым режимом на разных территориях само по себе характерно для колониальных ситуаций), и сознательно пытался извлечь из этой разницы выгоду. На мой взгляд, это и означает сознательность безотносительно к тому, использовал ли Толстой по отношению к этой ситуации определение «колониализм». В конце концов, определения — дело исследователя. Я действительно придаю вес этим «объективным», «внешним» обстоятельствам, которые некоторым могут показаться лишними, но моя аргументация основана не только на них. Опираясь на методологию постколониальных исследований, я стремлюсь интегрировать в своем анализе, во-первых, внутренний, духовный мир писателя, во-вторых, экономический, политический и социальный мир, в котором он жил, и в-третьих, идеологию, которая стоит за литературными репрезентациями, и их потенциальное общественное значение. Как гуманитарий, я пытаюсь погрузиться в глубины авторского сознания, но свою задачу я вижу не в воспроизведении этого сознания, а в его анализе и, если это уместно, в формировании критического к нему отношения. А это требует внешней позиции по отношению к предмету анализа.

Таким образом, мы подходим к вопросу о концептуальном мышлении Толстого, поднятому в некоторых ответах. Если колониальные концепции не входили в кругозор Толстого, можем ли мы «вчитывать» их в его биографию и творчество? Как ясно из вышеизложенного, я считаю, что не только можем, но и обязаны. Можно ли участвовать в гендерно окрашенных практиках, не имея представления о гендере как о теоретическом понятии? Определенно да. Рассуждая о связях творчества Джейн Остин, Верди или Шекспира с политической империализма или об отражении этой политики в их произведениях, ни

91 См.: Толстой С.Л. Об отражении жизни в «Анне Карениной»: Из воспоминаний // Литературное наследство. Т. 37—38. Л.Н. Толстой. П. М.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 579.

один исследователь постколониальных вопросов не сочтет необходимым доказывать, что эти художники могли рассуждать о теории колониализма. Напротив, центральная идея основополагающих работ в области постколониализма как раз и состоит в том, чтобы пролить свет на те искажения и умолчания, с помощью которых колониальный дискурс стремится выдать различные формы участия в политическом проекте империализма за что-то иное, обычно более невинное, скажем прогресс, цивилизаторскую миссию, гуманитарные цели, просветительские идеалы и проч.

Таким образом, Толстой вполне мог считать русских поселенцев не колониалистами, а участниками «стихийного процесса», сознающими свое предназначение, или мог не отличать кочевников от хлебопашцев. По моему убеждению, именно в этом и состоит проблема. Для него смотреть на башкир и видеть в них нечто «надбашкирское» значило игнорировать исторически реальных башкир и их вполне реальные общественно-экономические проблемы, о которых он лично знал. Смотреть на русского мужика с его плугом и видеть «человека вообще» значит игнорировать, как этот мужик действовал в настоящем мире. Более того, как отмечают Долбилов и Могильнер, такая идеализация противоречит экономическим отношениям самого Толстого с крестьянами и в Тульской, и в Самарской губерниях. Красносельская отрицает непоследовательность в суждениях и действиях Толстого, но делать так значило бы обеднять наше понимание сложных отношений между этим великим гуманистом и обществом, частью которого он был. Разумеется, Толстой имел полное право воспринимать и русских, и башкир так, как ему было угодно, — на мой взгляд, исследователь не должен «требовать» от писателей чего бы то ни было. А вот что исследователь — по крайней мере, постколониальный исследователь — должен делать, так это описывать, что такая универсализирующая перспектива сама по себе входит в стандартный набор колониальных интеллектуальных ходов и что в конечном счете ее результатом (если не целью) становится замалчивание империалистической эксплуатации. Образ «общечеловеческого» башкира скрывает башкира настоящего — и то угнетение, которое этот башкир претерпевал.

Я понимаю, что такой подход может показаться слишком резким по отношению к выдающемуся писателю, особенно если учесть, что именно этот писатель в своем творчестве страстно и резко критиковал империалистические завоевания и насилие и что он сострадал жертвам империалистического угнетения, быть может больше, чем любой другой представитель русской культуры. В статье я подчеркиваю, что мои находки не призваны отрицать этого. Как и Могильнер, я планирую оставить «Хаджи-Мурата» в списке рекомендованной студентам литературы. Когда я обсуждаю эту повесть со своими американскими студентами, она регулярно оказывается в числе их любимых произведений, и я сама ею восхищаюсь. В то же время мои находки привлекают внимание к другой стороне этого произведения, которая не дает мне преподавать его как чисто антиколониалистское (впрочем, мои студенты сами могут определиться со своим отношением к этому произведению). Мы должны перестать возводить гениев на пьедестал и ожидать, что они будут моральными образцами и сторонниками взглядов, которые могут оказаться безупречными с позиций сегодняшнего дня. Сама я ничего подобного от них и не ожидаю. Когда выяснилось, что Руссо отдал собственных детей в воспитательный дом, его не исключили из списков литературы, да и место в них Достоевского, при

всех его расизме, ксенофобии и империализме, едва ли пошатнется. На мой взгляд, нет никакого противоречия между тем, чтобы признавать за писателем человеческие ошибки и слабости или не соглашаться с его политическими взглядами, и тем, чтобы восхищаться его творчеством и изучать его произведения. Но как исследовательница, я не вижу надобности доказывать благородство писательских намерений или невинность писательских взглядов.

Полагаю, что ни один из моих респондентов не будет возражать против этого тезиса. И все же в некоторых высказываниях мне видится стремление защитить Толстого. Описывая антиколониальную позицию позднего Толстого, Майорова подчеркивает, что по меньшей мере в 1896—1904 годы, когда писался «Хаджи-Мурат», Толстой уже не был колониальным землевладельцем. Это кажется мне натянутой попыткой перечеркнуть прошлое — можно подумать, опыт человека не играет никакой роли в его жизни и мышлении (в своей статье я показываю, помимо прочего, какие долгосрочные последствия башкирский опыт имел для Толстого). Более того, даже если Толстой сам отказался от своей собственности, его дети этого не сделали. В октябре 1899 года Толстой все еще советовал своему сыну Андрею не продавать самарские земли, подчеркивая их доходность и рост их стоимости (СХХII, 215). Всего девятью месяцами позже Толстой жаловался А.Б. Гольденвейзеру, что Андрей «живет на счет народа, который я когда-то ограбил» (СХХII, 429). Таким образом, публичная демонстрация Толстым своих нравственных ценностей, по меньшей мере хронологически, совпадала с вполне терпимым отношением к колониальным доходам, которые получали его дети. По этой причине я склонна придавать меньшее значение состраданию Толстого и его последователей голодающим башкирам, чем Красносельская. Как историк, я хотела бы видеть доказательства, что российское правительство или участники толстовских филантропических кампаний действительно помогали им. Статистический подход, которым объясняется решение Толстого сообщать о каждом десятом крестьянском хозяйстве в Гавриловке, не объясняет его решения публично представить страдания голодающей Башкирии как страдания русских поселенцев. В конце концов, он мог бы выбрать другой метод или добавить к статистическим выкладкам пару фраз о том, что коренное население также являлось жертвой голода.

Ценные источники, названные Красносельской, действительно указывают направление для возможных будущих исследований, посвященных борьбе с голодом. К ее списку я бы хотела добавить переписку, хранящуюся в Пушкинском доме в фонде Льва Львовича Толстого. Будущему исследователю пригодились бы письма А. Бибикова Льву Львовичу, датированные 1899 годом, автор которых сообщает о столовых, устроенных на деньги, присланные Львом Львовичем (видимо, собранные по подписке) в деревнях, где находилось имение Толстых. Бибиков также упоминает, что «цинга сильно стала распространяться» в соседних башкирских деревнях и что этой проблемой пришлось заниматься Международному красному кресту, пославшему туда санитарный отряд⁹². Независимо от того, действительно ли коренное население получало помощь, было бы интересно установить, распространялись ли поровну между различными пострадавшими территориями средства, собранные по всей

92 См.: Рукописный отдел Института русской литературы Российской академии наук. Ф. 303. № 167 (письма Бибикова); № 674—608 (письма С.А. Толстой Л.Л. Толстому).

стране семейством Толстых, или направлялись преимущественно в деревни тех поселенцев, чьим трудом пользовались Толстые как помещики. Но это остается вопросом для другого исследования.

В заключение, возвращаясь к вопросам интерпретации, я полностью согласна с утверждением Майоровой, что бинарные оппозиции типа колониальный/антиколониальный слишком примитивны для анализа литературного наследства эпохи империи. Такая идеологическая лакмусовая бумажка едва ли способна привести к продуктивным прочтениям, особенно если учесть, что большинство (если не все) произведения литературы XIX века, русской или европейской, в той или иной степени связаны с империалистическими политическими проектами. Меня больше интересует не вопрос, были ли те или иные произведения колониальными, а вопрос, в чем они были колониальными, — как и в какой степени они реагируют на империализм, определяющую историческую силу XIX века, как эта реакция проявляется на формальных, эстетических и идеологических уровнях этих произведений, какие репрезентационные стратегии в них используются и созданию каких политических идей и аффектов эти произведения способствуют. В то же время мы как исследователи должны пересматривать и уточнять сложившиеся в научной традиции взгляды — в случае Толстого это общераспространенное мнение, основанное на его кавказских произведениях, что он был антиколониальным писателем. Узнав то, что я узнала о самарском имении Толстых и о его взглядах на явление, которое мы сейчас называем поселенческим колониализмом, я больше не считаю такую его характеристику однозначно справедливой — и некоторые респонденты разделяют мой скептицизм. Красносельская и Майорова находят слишком радикальной мою переоценку антиколониальной репутации автора. Я полагаю, что эта репутация основана на недостаточно чутком понимании феномена европейского колониального дискурса и слишком зависима от инерции советских клише⁹³.

В конечном счете, называя Толстого «антиколониальным», мы возвращаемся к той самой дихотомии, которую Майорова справедливо критикует. Вмес-

93 Воспользуюсь возможностью прояснить свои идеи, которые Красносельская излагает не вполне точно. Я не утверждала, что «башкирский сюжет замалчивался, дабы не скомпрометировать писателя», и не упрекала Толстого в том, что он передал землю в аренду русским крестьянам, а не башкирам. Такой упрек был бы неуместен, поскольку башкиры, которые были не в восторге от перспектив оседлого образа жизни и земледельчества, едва ли стремились стать его арендаторами. Я обращаю внимание на то, что Толстой сдал землю в аренду не общине, а индивидуальным крестьянам. Говорить, будто бы покупка земли в Самарской губернии была «затеяна для быстрого обогащения за счет вытеснения с самарских земель коренного башкирского населения», подразумевало бы, что Толстой явно и сознательно рассчитывал нанести вред башкирам. Этого я не утверждаю. Скорее, писатель был невнимателен к прямым или косвенным последствиям своей покупки для местных жителей, что особенно понятно, если учесть, что он не покупал землю непосредственно у них. Хотя Толстой был в курсе того, что, пользуясь современным выражением, колониальные механизмы определяли отношения собственности в этом регионе, это не помешало ему заключить сделку. Наконец, я бы хотела заметить, что в задачи моей статьи не входило перечислить все исследования, посвященные империалистическим аспектам русской литературы. Более полный, хотя и уже устаревший, список монографий на эту тему см.: *Bojanowska E. A World of Empires: The Russian Voyage of the Frigate Pallada*. Cambridge; L.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2018. P. 304, note 35.

то того чтобы отказаться от черно-белой картины, мы просто меняем черное на белое. В своей статье я попыталась отказаться от этих антиномий и поместить Толстого в серую зону. Опираясь на мнение исследователей коренных народов, что деколонизация не должна быть «просто метафорой»⁹⁴, я думаю, что антиколониализм тоже не должен быть метафорой. В этой связи я предпочитаю проявлять осторожность, раздавая высокие оценки за антиколониализм, и считаю, что важно четко определять собственные понятия. По моему мнению, антиколониализм представляет собой нравственную и политическую позицию, отрицающую оправданность колониализма при любых обстоятельствах. Учитывая толстовскую романтизацию странствующего мужика, который со своим «завладевающим» плугом отправляется в «пустые» пространства башкирской или маньчжурской степи, я не думаю, что такое определение хорошо подходит Толстому.

В заключение я хотела бы поблагодарить всех респондентов за их содержательные ответы на мою статью, которые подогрели мой собственный интерес к моему проекту, внесли в мои рассуждения полезные коррективы и позволили читателям «Нового литературного обозрения» увидеть эту увлекательную историю в более нюансированном свете.

94 *Tuck E., Wayne Yang K.* Decolonization Is Not a Metaphor // *Decolonization: Indigeneity, Education & Society*. 2012. Vol. 1, No. 1. P. 1–40.